

Алена Жукова

## Пиросваня

Памяти Юрия Коваля

Лодка стояла на морском причале и была не какой-то там легкой плоскодонной шаландой, а широким рыбацким баркасом с мотором от старого «Запорожца». Владелец ее, дядя Ваня, семидесятипятилетний рыбак, в прошлом кочегар, а по жизни художник, был бессменным капитаном и хозяином этой лодки. Звалась лодка «Надя», как и жена, с которой Иван прожил больше полувека. Обе они, жена и лодка, потихоньку скрипели, жалуясь на возраст, но были еще на полном ходу. Хоть «Надя»-вторая родилась на четверть века позже Нади-первой, для лодки это был уже закат. Краска на крутых лодочных бедрах отслаивалась волной, а черные буквы имени пузырились и лопались от жаркого солнца. Ивану приходилось освежать осыпавшуюся краску, и он был доволен, что когда-то не поддался уговорам жены и не записал лодку на имя «Надежда», а то пришлось бы еще с тремя буквами возиться. Обводя надпись твердой рукой и никогда не пользуясь для этого трафаретом, он часто думал о том, что его жена Надя никакая не Надежда. Всю жизнь, считай, прожили, и никаких надежд – как сказанная была, так и осталась, но то, что недавно вытворила, – ни в какие ворота. Раньше даже нравилось – каждый день театр: то комедию на голубом глазу ломает, то драму с трагедией, а теперь, что называется, вышла на большую сцену. Восьмой десяток пошел, а все туда же: гитару в руки, розу в декольте – и хоть кол на голове теши. Наверное, если бы сын Мишка не умер во младенчестве, или бог еще детей дал, угомонилась бы, да вот не беременела больше. Зато сестра ее младшая, Мила, навверстала – двух парней зараз родила, а те тоже близнецов нарожали.

Теперь весь этот кагал на лодке катаем. И хорошо, что родичей много, – все свои. Чужому только дай отхлпать, а тут – хозяйство целое, все денег стоит: и место на причале, и курень, и снасти... Милкина семья все лето при лодке, только муж ее Славка никакой не рыбак. Что за мужик – ни рыба ни мясо! Да откуда ж Милке было мужа хорошего взять с такой фигурой? Они с Надькой – как неродные. Мила моложе будет лет так на двенадцать, но старуха старухой и толщины необъятной, а вот Надюха и сейчас фигуристая, юркая. И лодка тоже – вся в нее, ход легкий, веселый. Известное дело, как назовешь, так и поплывет, но в последнее время что-то мотор барахлит. Может, пора на покой...

Но мысли о покое каждый год откладывались на неопределенный срок. Завтра Иван опять выйдет в море, ставрида идет, а Наденька будет стоять на берегу в своей широкополой белой шляпе и махать вслед платочком. Только она одна это делает, никто из женщин не машет им вслед – они машут вениками в куренях. Хорошие, правильные женщины – молодые и старые, красивые и хозяйственные – они готовят еду, кормят детей, купаются, загорают. А к вечеру, когда вернутся с уловом, Надюша встретит у самой воды. Закатное солнце ударит в глаза, но Иван заметит ее платочек и плавно причалит, шершаво врезаясь в песок. Она погладит «Надю» по мокрым, как у взмыленной лошади, бокам и, пока мужчины будут выносить на берег снасти и рыбу, начнет напевать себе что-то под нос, словно укачивая лодку, обессиленную и отяжелевшую, слегка подрагивающую на тихой волне. Набегут с ведрами рыбачки, и полетит вокруг перламутровая чешуя. Надюша снимет шляпу и, подвязавшись платочком, весело запоеет. А как без песен рыбу чистить? Без песен тоскливо. Скрипит лебедка в такт, втягивая по мокрым бревнышкам на берег отяжелевшую «Надю». Женщины варят уху, накрывают на столы. Скоро все усядутся, будут с шумом втягивать в себя горячую юшку, пить водочку и обсуждать сегодняшний улов. Потом настанет время дядиваниных баек, но только после того, как детей отведут в курени и уложат спать на жесткие матрасы, пропахшие морскими водорослями и керосином. На дверные проемы куреней опустится посеревшая марля, обсиженная мухами, а дети, стараясь разглядеть и подслушать взрослых, будут бороться со сном, но мар-

левый туман их усыпит, и они не услышат историю, которую дядя Ваня припас на сегодня. Он мог, конечно, рассказать ее еще вчера, но ждал, когда настоится, как наливочка, которую Надя принесла к столу.

– Ну что, хряпнем. Никого больше не ждем. Ляля собиралась подойти, но не знаю, появится или нет после Надькиной гастропли. Ой, девка тяжелая, с перцем! А про нее как раз есть что сегодня сказать. Я-то думал, она сама за себя скажет, так нет! Обещала прямо с вокзала сюда, как проводит этого московского хлопца, ну помните, того, что с нами на бычка ходил. Интересный мужик – знаменитость. Гляньте, Надька аж вспотела. Как только об нем речь, так ей прямо дурно.

Надя шлепнула мокрой тряпкой по столу, прибавив муху.

– Ты, Ваня, думай, что говоришь. Ляльку обидел, да и перед писателем – дурак дураком. Вот едет сейчас он в свою Москву и думает: «Какой этот Ваня поц, я ему и то, и се, а он мазню свою пожалел, испугался, что продешевит!».

– Не, он так не думает. И слов таких похабных не знает. Он – писатель, культура. А ты – вредитель, даже слово есть такое – вандал, я его в энциклопедии вычитал. Это те, кто культуру уничтожают. Ты, Надя, Славику плесни наливочки.

Надя, покраснев, размотала бинт на бутылочном горлышке и разлила в стопки темно-вишневую тягучую жидкость.

– Славик, стопку подними, на свет посмотри. Цвет какой, а! Пробуй давай. Вкус тоже что надо, но цвет! Я вот что вам скажу: в природе нет чистого цвета – все намешано. Вот трава – она какая? Да не зеленая! В ней знаете, сколько зеленого – совсем мало. Там и неаполитанский желтый, и охра, и умбра жженая...

– Иван, чего пристал, давай выпьем уже, – кисло заметил Славик. – Уехал твой художник.

– Писатель, – поправила Надя.

– Писатель-художник, – уточнил дядя Ваня.

– Неважно. Перед кем выпендриваешься? Надя, налей мне беленькой, не закрашенной, – протянул стакан Славик, отставив наливку в сторону.

Все сидящие за столом, а их было шестеро, чокнулись, седьмым подошел Боцман, который тихо сел неподалеку, но ему

не налили, поскольку кобелям не наливают. Боцман, интеллигентно подождяв, пока люди выпьют, подал голос и получил кусочек колбаски. Улегшись в тени стола, чихнул от забившейся в нос пыли и задремал. Он был сторожем на причале, а не в галерее. Живопись его не интересовала так же, как родню, сидящую за столом. Но Иван гнул свою линию.

– Я вот новое полотно пишу. Решился на Айвазовского. Так вам не передать, что в той воде творится, сколько цвета намешано. Надь, чего кривишься? А давай-ка я тебя с нашей лодкой в «Девятый вал» впишу. Глаза вылупила, волосы торчком – тебе даже позировать не надо. Ладно, шучу. А ты не огрызайся, стыд имей. Ну вот скажи, с какого бодуна москвичу приспичило мои картины скупать, если они мазня?

– Ладно брехать, не собирался он их скупать, – скривилась Надя, – он выставку тебе предлагал.

– Кто брешет? Да, выставку предлагал, а еще спрашивал, почему продам. Да если бы я их продал, то мы бы не на лодке, а на катере катались. Эх, родичи, скучно с вами, а у москвича было что ни слово, то наживочка для разговора. А разговор какой получался – песня! Вот наша старушка и попалась. Ну что, я неправ? А, Надюха?

– Да оставь ты ее в покое, – встала на защиту сестры Мила. – Лучше скажи, как он вообще у вас оказался.

– Его к нам наша Лялька привела, моей двоюродной сестры Дуси внучка. Эта внучка-байстрючка еще недавно по причалу в одних трусах бегала, а теперь – цаца такая, куда там – не подступишься. Она на киностудии работает. Вот на той киностудии и захотели снять кино. Про что бы вы думали? Та не догадаетесь. Писатель придумал, что можно построить лодку, самую легкую в мире. Он мне свою книгу подарил, я открыл и, чтоб с места не встать, все про меня: и золотой зуб, и тельняшка. Вы почитайте, почитайте. Мы с писателем этим, вообще, похожи – картины пишем, рыбачим, разные истории сочиняем. Видный мужик, скажу вам, но хитрован еще тот.

– А ты не хитрован? – усмехнулась Мила. И все за столом: ее муж Славик, два сына-близнеца Костя и Витя, Надя и даже Боцман – подали голоса, зацокали языками, мол, уж большего хитрована, чем ты, дядя Ваня, найти трудно.

– Да, Милка, я тоже хитрый. Но не в этом дело, мне такая слава не нужна. Я же не блядь какая на мосту стоять.

Славик, поднесший стакан ко рту, поперхнулся. Мила в недоумении уставилась на дядю Ваню, а потом, скосив глаза в Надину сторону, изогнула брови домиком, выражая крайнее удивление.

– Нет, ну как вам это нравится? Ну кто он после этого? – завелась Надя. – Писатель предложил ему выставку в Москве на Кузнецком Мосту. Я у нашей Ляльки узнавала, что это за мост такой. Оказывается, это место, где у художников выставки проходят, а он даже не поинтересовался, что и как. Обидел писателя, Ляльку, не дал свою маз... картины, прости господи.

– Я тебе вот что скажу, Надька, не морочь людям голову и за него не решай, обиделся или нет. Уже наделала делов. От, ты бы имела бледный вид, если бы я ему правду сказал про картину. Ты же втюрилась в него, как соплячка. Он, конечно, мужик видный, в самом соку, но ты ж ему в мамки годишься, если не в бабки. Тебе ручку из вежливости целовали и подпевали тебе из вежливости, а ты сомлела и глазками – зырк-зырк, и губки бантиком, так, где ж тот бантик? Теперь заместо него попка куриная. А слышала, как он сам на гитаре играет и поет? Душа прямо сразу из организма выскакивает.

Надя открыла рот, чтобы по достоинству ответить на мужнино хамство, но дружный хохот за столом заглушил ее ругательства.

– Надюха, хорош цапаться, – продолжил довольный собой Иван, видя, что градус жениного гнева нарастает. – Ты тоже ему понравилась, с художественной точки зрения, конечно. «Нет на вас, Надежда Степановна, Гойи!» – говорит. Да не еврей он, Славик! Все тебе евреи мерещатся, при чем здесь гойка! Художник был такой – Гойя, картина «Обнаженная Маха» называется. Там баба голая, лицом – вылитая Надька, но хуже. Я эту Маху тоже напишу, только подправлю чуток, чтобы сходство усилить. Славик, а чего это твоя половина ржет? Мила, сейчас лопнешь. Я вам сейчас одну картину покажу, которая этого москвича прямо наповал убила, сразу попросил продать, большие деньги давал, а я сказал, что Надю не продаю, предлагал ему «Ленина в Горках», так он не взял, сказал, что за это так дадут – мало

не покажется. Вы наливайте, я сейчас вынесу. Складирую работы в курене, готовлю выставку на причале.

За столом поднялся шум. Боцман истерично залаял со сна в унисон женскому визгу.

– Ну чего вы хай подняли, бабоньки? – попытался успокоить женщин Иван. – Какой позор? Это живопись, темнота вы, бескультурье. При чем тут Надя голая? Там дамы другой комплекции, они богини мифологические, а то, что лицом на Надьку смахивают, так это прием такой художественный. Короча, хотите посмотреть? Не хотите? А вот Славик аж вспотел. Несу.

Пока Иван перебирал в ящиках свернутые в тугие свитки холсты, родственники возбужденно расспрашивали Надю, действительно ли этот московский писатель-художник собирался скупить у Ивана весь этот ужас, и что, собственно, Надя натворила. Она было открыла рот, как из куреня вышел дядя Ваня с перекинутым через плечо то ли ковром, то ли бревном.

– Ну вот, черт, большая очень. Витька, Котя, подержите, разверну полотно. Размер почти как у оригинала. Ну как? Чего языки проглотили? Милка, ну посмейся, что ли... Это шедевр знаменитый, «Даная» называется.

Хорошо, что в этот момент Славик уже поставил стопку на стол, иначе бы точно мимо рта промахнулся. Милка ойкнула и закрыла глаза руками.

– Я, конечно, тут кое-что поменял, – объяснил обалдевшей публике дядя Ваня, – вместо той, со шнобелем, написал Надькино лицо. А вы на руки посмотрите: вот эти часики золотые и колечко с рубином в семьдесят девятом подарил на золотую свадьбу. И маникюр, и педикюр красненьким, все, как Надя любит. Красота, а? Чего онемели? Знаю, натурализма много. Художники говорят – плохо, когда натуралистично, нет полета фантазии, но против правды не попрешь – жены фигуру как свои пять пальцев знаю. У моей – телеса с крутым рельефом и волос, где надо, побольше. А за портьерой кто прячется, узнали? Так это ж я! Дамочка Зевса ждет, а я притаился и тоже жду, но с дрыном. Вот так бы ты, Надька, ждала бы хахаля, а я – тут как тут. Сильная вещь получилась, москвичу очень понравилась, а некоторые темные необразованные женщины за-

прещают ее в доме держать. Но – дулю тебе. Сказал, выставку на причале сделаю, значит, так и будет.

Схватив со стола нож, Надя кинулась на холст. Ее перехватили, отобрали нож, усадили на место, но Надя продолжала колотиться, как яичко в крутом кипятке.

– Уйду от тебя куда глаза глядят, ирод проклятый, – голосила она нараспев. – И не держи, а все картины твои поганые на кусочки порежу или сожгу.

– Тогда и меня жги, – опустил на стул Ваня и дрожащими руками начал сматывать полотно.

За столом повисла тяжелая театральная пауза. Мила успокаивала сестру, а Славик, плеснув еще по чуток каждому, вроде как на дурачка, перевел разговор из культурологической плоскости в материальную.

– Дядя Ваня, тебе ж никто никогда копейки за картины не давал. Чего же ты так фраернулся... Так почему москвич брал?

– Он спросил цену, я и говорю: «Гамузом продам за тыщу, но где Надя, не продается». Он аж свистнул и говорит: «Ты, дядя Ваня, настоящий художник, бескомпромиссный, но без твоей Нади...».

– Нет, не так он сказал, – перебила пришедшая в себя Надя. – «Без твоей красавицы супруги они мне неинтересны». Он только со мной картины хотел.

Ваня посмотрел на жену и покрутил у виска.

– Щас! Надо быть даже не на всю голову больной, а просто еле-еле шевелить мозгом, чтобы подумать такое. Ну на что ты ему нужна? Вот я вам скажу, родичи дорогие, за что меня обида давит: вам же плевать, с чего это я вдруг стал картины писать, а писатель спросил. И я ему как на духу рассказал, что все со ссыкухи этой началось, – и дядя Ваня исподлобья глянул на заплаканную жену. – Захотелось мне изобразить, причем в полный рост, пацанку, что за нашей котельной жила. Выходит днем белье развешивать, а платье намокнет – и через него все тело видать. Фигура такая – глаза свернешь! А рисовать до этого никогда не пробовал, не знал, что и как. Пошел в магазин, купил всего – кисточек, красок и книжку «Руководство для начинающих художников». Ни черта у меня не получалось, но тут мы с Надюхой познакомилась поближе – ей шестнадцать стукнуло.

Она мне свое фото подарила, и сразу дело пошло. По сто раз копировал, руку так набил, что мог с закрытыми глазами ее нарисовать, но только лицо, ничего другого из головы не выходило. Стал календари иллюстрированные, по клеточкам перерисовывать. Та кому ж это надо? Решил, что так не пойдет, что надо картины улучшать, осовременивать. Попробовал Надино лицо разным дамочкам пририсовывать, шикарно стало получаться. И что заметил: как только Надя захандрит или, не дай бог, сляжет, стоит ее вписать в картину какую, так силы тут же возвращаются. Вот спрашивается вопрос: с чего это на восьмом десятке она такая молодуха? Имею что ответить, так вы ж не поверите! А я вам говорю: это потому, что могу ее изобразить только такой, как на той фотке, когда ей шестнадцать.

Все посмотрели на тетю Надю, словно впервые увидели. Она смущенно улыбнулась и как-то легко, по-девичьи, откинула завиток, упавший на глаза. Близнецы Витя и Котя хмыкнули, Мила поджала губы, а Славик согласно кивнул головой.

– Потому и не продам картины эти, – сказал я тогда писателю. – Они не только мои, но и Надькины тоже. Но ты у нее их не проси, она все отдаст и сразу помрет, я точно знаю, – закончил Иван торжественно.

– А он что на это? – спросил потрясенный Славик.

– Попросил его портрет написать для общего оздоровления и омоложения.

– А ты?

– А я согласился, но еще раз напомнил, что из головы не умею и с натуры тоже, вот если бы фото... Тогда он членский билет писательской организации показывает, а там его фотка три на четыре, и говорит: «Напиши меня, дядя Ваня, за столом, полным еды и питья. Разносолов там всяких не надо, главное – чтобы колбаска, хлебушек и огурчики соленые». Он не задаром просил: кругом-бегом рублей тридцать обещал. Вот только фотка маленькая была и черно-белая, но я выкрутился, увеличил и раскрасил. Еще зуб золотой дорисовал, как в его книжке. Там написано, что мечтал он о таком с детства.

Надя не выдержала и встряла в рассказ, нарушив его плавное течение.



– Ну что ты мелешь! Это ж не картина, а уродство какое-то! Карикатура поганая! От представьте себе: стол кривой, на нем бутылка кривая, а на бутылке наклейка «Столичная», которую с поллитровки отодрал. Колбаса на кучу говна похожа, хлеб – на кирпич, а огурцы на крокодилов. И над всем этим висит в рамке морда писателя! И какая! Красная и здоровенная, как помидор «бычье сердце», только очень несвежий.

– Так, может, писатель такой и есть? – спросил Славик, но Милка на него шикнула.

– Ты че, рехнулся, вы же вместе квасили после рыбалки, не помнишь? Мужик такой интересный, навроде артиста.

Дядя Ваня возмутился:

– Ой, и эта туда же! Славик, гляди, как все бабы за него горой! А показать всем гостям твои художества? – не унимался Ваня. – Сейчас принесу. Там в холсте вместо писателя – дырка. Спасибо Наденьке, учудила, ножничками маникюрными покоцала. Куда дела портрет, признавайся!

– В мусорку выбросила. Нет чтобы человеку руки пририсовать, а ты одну голову в рамку – спасибо, не черную!

– В красную, как на Доске почета, а без рамки работа незаконченно смотрелась, – резонно заметил дядя Ваня. – А что же ты, Надя, людям не рассказываешь, как расстроился писатель, когда картину не получил? Ты, Надя, напортачила, а фасон держишь. А еще он золотые слова сказал: «Нет на земле лучших людей, чем художники». Хотелось ему ответить, что есть у этих людей лютые враги – их жены, но сдержался. Боялся тебя выдать. Так и уехал он ни с чем.

– Эх, дядя Ваня, упустил ты свою удачу, – разочаровано заметил Славик. – Бабки не срубил, от славы отказался и с портретом, видать, промахнулся. Женщины – они видят, если что во внешности не так. Может, Надя не зря ножничками поработала, хотела тебя от позора спасти. А представь: увидел бы писатель себя уродом, еще обиделся бы...

– Кто бы обиделся? Да он бы смеялся до слез, – раздался откуда-то с краю звонкий голос, и перед уже не очень трезвой и грустившей компанией нарисовалась симпатичная молодая женщина. Она поцеловала Надю, пообнималась с Милой

и ее семейством, потрепала Боцмана за ушами, а он, как настоящий мужик, бросился под юбку. Наконец Ляля подошла к дяде Ване и протянула ему руку.

– Хочу поздороваться с художником, который отказался от денег и славы ради любви.

Дядя Ваня, обалдев, готов был пожать ее руку, но потом, словно обжегшись, отдернул свою.

– Ты чего, Лялька, какой любви? Это про Надьку, что ли? Да холера она! Так бы и бежала за этим писателем-художником до самой Москвы – что я, дурной, не вижу? Теперь ты знаешь, что на самом деле с картиной этой клятой случилось.

– Да знала я. Мне тетя Надя рассказала и даже показала твой шедевр. Если честно, клёво получилось, писателю бы понравилось, жаль, что так все вышло. А ты всерьез думаешь, что твои картины молодость возвращают?

Дядя Ваня посмотрел на темнеющее небо, простреленное кое-где звездной шрапнелью, потом на море, теряющее краски, и загадочно улыбнулся.

– Та не знаю, спроси у Надьки.

– Эх, дорогой мой дядька, – обняла его Ляля, – а ведь мог бы прославиться не хуже Пиросмани. Был такой художник-примитивист.

– Как ты сказала? Примитивист! Это я, что ли, примитивный? Сейчас как на тебя обижусь! И Пиросваня твой задрипаный меня не колышет.

– Точно – ПиросВаня! Отлично! Это ж надо, классно звучит! Ладно, не обижайся, читай книжки про великих художников, как про себя самого. Если хочешь знать, ты от них ничем не отличаешься. Вы, художники, вообще, все одинаковые по факту рождения. Тебе привет от нашего московского друга – он доволен поездкой, потому что встретил тебя и Надю, а вот с фильмом, скорее всего, ничего не выйдет. Жаль, что с портретом такая лажа получилась, не помешала бы нашему писателю твоя магия.

Вечер быстро превратился в теплую душную ночь. Ляля осталась ночевать на причале, об этом у них с Надей было договорено заранее. Когда все улеглись, им наконец удалось уединиться и пошептаться о писателе. Парфюмерные ароматы ночных цве-

тов, вытеснившие напрочь запахи моря и рыбы, прибавили романтики Надиным любовным признаниям, и Ляле в какой-то момент перестало быть смешно. Ей стало жалко Надю, нервно и нежно разглаживающую на коленях вынутый из бюстгальтера огрызок холста с уродливым писателем.

– Это ж надо, такое придумать – влюбилась! А я просто, ну... подумала, что нашему Мише было бы сейчас столько лет, как писателю...

– Ладно заливать, – улыбнулась Ляля. – Влюбилась, влюбилась, чего врать. Все в него влюбляются.

– И ты? – Надя трагически приложила руку к сердцу.

– Я что, по-твоему, дура? Во-первых, он женат, во-вторых, знаменитость. Знаешь, сколько вокруг него таких, как я, вьется?

– Лялечка, девонька, а как же это у тебя получается? Сказала себе – не влюбляйся, и не влюбляешься. По мне, так это все равно что приказать: «Не потей!» – а ведь все равно потеешь. Это ж какую силу воли надо иметь!

– При чем тут воля? Голову на плечах надо иметь. Просто с годами умнеешь и... – тут Ляля осеклась и посмотрела Наде в лицо. На нем застыло выражение блаженной мечтательности. – Я хотела сказать, – поправила Ляля, – с годами все как-то спокойнее. У меня после двадцати пяти как пелена с глаз упала, а ты прям как шестнадцатилетняя – слезы, страдания, я даже тебе чуточку завидую. Может, Ваня тебя и вправду заколдовал?

– Слушай его больше.

– Кто его знает. Мой тебе совет – отдай Ване этот кусочек холста, пусть приклеит, или всю картину перерисует, а я в Москву повезу, а вдруг она и вправду – лечебная.

– Ну Лялька, – покачала головой Надя, – мудреная ты девка. Что городишь – сама не знаешь. Не буду ничего отдавать! И знаешь, что скажу – если он эту выставку позорную устроит, я везде свое лицо вырежу.

Ляля обняла Надю и тихо попросила: «Пожалуйста, очень тебя прошу, не делай этого».

– Смотри, смотри – звезда упала, – ойкнула Надя. – А я не успела загадать!

– А если бы успела, загадала бы про него?

– А про кого же? Только бы еще раз встретиться...

Обе они приклеились взглядами к небу в ожидании новой звезды-самоубийцы. Где-то там сиял Орион – любимое созвездие писателя. Ляле хотелось его найти и показать Наде, но ее познаний в астрономии не хватило. Устав глазеть на небо, они пошли спать, так и не дождавшись Надиной звезды и не загадав желаний.

А звезды продолжали падать – в августе это было частым явлением. Засыпая, Ляля думала о том, что будет с Надей, Ваней и писателем через год, два, десять... Она была еще очень молода и мысли о смерти не допускала, а если и допускала, то успокаивала себя тем, что «рукописи не горят», как и картины, ноты, фильмы. Ей казалось, что есть изнанка мира, где все, что создано воображением, обретает плоть и живет вечно. Там лежат обнаженные Махи и Данаи, сидят «Ленины в Горках» и даже писатель-художник с золотым зубом на портрете 3×4. Там крутят фильмы и звучит музыка, и где-то там навстречу вечности уже плывет его лодка – самая легкая лодка в мире.

